



Е. В. АНИЧКОВ

Две струи русской политической мысли

I

Герцен и Чернышевский в 1862 году

Причиною ареста Чернышевского было письмо Герцена к Н. А. Серно-Соловьевичу, найденное на привезшем его из Лондона и схваченном по извету мещанине Павле Ветошкине*. Все содержание письма сводилось к разрешению Герценом перепечатать его прежние, вышедшие в России произведения, но в конце была приписка:

«Мы готовы издать Совр. здесь с участием Черныш. или в Женеве — печатать предложение об этом. Как вы думаете?»**

Лишь только письмо попало в руки III отделения, на следующий же день, 7 июля 1862 года, у Чернышевского был произведен обыск, и он сам заключен под стражу.

Так сковалось железное кольцо, которым связаны трагические судьбы обоих руководителей передовой русской мысли, автора «Кто виноват?» и автора «Что делать?». Их дальнейшая судьба и при жизни и после смерти — страница одной и той же книги, несмотря на их различие и по складу характера, и по стилю, и по общественному положению и в оценке современников. Одна страница о двух текстах и надолго

* Былое. 1906. № 1. С. 230 и сл.; № 3. С. 103.

** Там же. № 1. С. 103.

до наших дней спор этих двух соратников-противников станет неотъемлемой особенностью русской души. Два типа русских людей спорятся и не могут согласиться, но и не разойтись им — потому что они две ипостаси единого лика.

Герцен — многогранный, блестящий и светский, негромонный спорщик, остроумный и неиссякаемый, мастер и слова, и мысли, писатель Божьей милостью, поэт и публицист, а публицист — каждый раз, как он становится писателем-художником. Все малейшие оттенки теории и людских поступков, воображения и национальных особенностей, вся пестрая жизнь людей и народов в их историческом прошлом и современной каждодневности, все, что живет, и плачет, и смеется под солнцем Европы, — все это близко и доступно Герцену: и грустит, и любит, и ненавидит. Дворянство ладится с демократизмом; блеск и простота всех его проявлений, и в жизни, и в писательстве, и с близкими друзьями, и с совершенно чужими людьми, — все это с какой-то непринужденной легкостью изливается из его души, отвечая пророчеству Белинского о его будущей значительности, и всем головокружительным похвалам и восторгам, какие всю жизнь сыпятся на него во всех письмах к нему не только от друзей и единомышленников, людей его склада и среды, но и от посторонних, даже иностранцев, из дальних стран, живущих совсем иными чаяниями и интересами. Все доступно, все если не ясно, то все равно сверкает переливами в зеркальности его таланта, и отсюда многогранность.

Какая-то неиссякаемость, непосредственно и без усилий дающейся роскоши слов, понятий и образов — вот что завлекает и запоет, именно запоет, а не заговорит, как только прочтешь некую страницу из Герцена. Даже не страницу. Несколько строк письма к кому-то в ответ будь то по самому обыденному делу, будь то в обстоятельствах тяжелого трагизма, и сразу захватит золотая сеть его изумительного дарования.

Чернышевский — другое. Совсем не светский, чудак и нелюдим. Сосредоточенный на раз усвоенных принципах и, как черта по линейке, путь его мыслей и работ. Книгочей-писатель, согнувшийся над литературной работой; всегда за нею, и в лучшую светлую пору жизни на Большой Московской в Петербурге, и после в тюрьме и ссылках, до самой

могилы. Его жизнь — работа, а работа — настойчивое проповедование в жизнь воззрений, которые он считает непреложными. Никаких колебаний или отклонений. Так надо, потому что так разумно, а все остальное для него не серьезно, пустяки, даже просто глупость. Трезво, но с верой пламенной и напряженной. Горожанин и попович, он сам любил говорить, что постороннее для него дело освобождения крестьян и вопросы их нового землеустройства. Ничего общего не было у него ни с каким дворянством, а крестьян деревни, русской природы, полей и лугов он почти вовсе никогда не видел вблизи. Только книги, знания мысли и при чем тут сомнения? Надо узнать, понять и объяснить другим, не ожидая никаких возражений, и силой дышит его дарование.

Но вовсе не сектантство. Никакой экзальтации не было в Чернышевском. Напротив. Полная терпимость. Самое добродушное отношение ко всем слоям и ко всякой среде сохранил до смерти Чернышевский. В нем меньше всего было надрыва, даже при перенесении своей тяжелой из тяжелых, несправедливо и жестоко ужасной судьбы. Добродушие слиивается с самым ярким оптимизмом. Оно даже усиливается в ссылке. Улыбается эта сосредоточенность и неистощимая трудоспособность. Лучезарностью какой-то веет от всех его работ и мыслей. Лучезарная доброта и в другом. Не романтизм и мечтательность, как в дружбе Герцена с Огаревым и со всеми другими его друзьями, которые любили его и любовались им. Рядом с Чернышевским нога в ногу с ним шел Добролюбов. Нельзя трогательнее любить, чем полюбил Чернышевский Добролюбова. Но не для мечтаний, а для работы и за работой. Совершенно такая же непосредственно и непринужденно присущая ему трудоспособность было то, что всего более понравилось ему в Добролюбове.

Главное — ум.

Для Герцена ум данное, об нем нет заботы: струится и маячит по пути талантливость. Чернышевский самую талантливость Добролюбова оценивал как проявление ума.

А основное чувство, горячее и святое у обоих, и Чернышевского, и Герцена, было одно. Однозвучно бились сердца. Это чувство заполонила, звала к себе и не давала оторваться ни на самую малую долю себялюбивых помыслов — Россия,

но не Россия — государство в таких-то вот рубежах, а пока не грозит им опасности, пусть протекает жизнь сообразно своим потребностям и желаниям, так что может и не вспоминаться о родине, нет, живая — та, которой вот сейчас во всем, и в каких бы то ни было тесных или широких границах немедленно и ежечасно нужна помошь, живая Россия, потому что она нечто иное, как *русский народ*. Все для русского народа: у одного — мечта, скорбь, блеск мыслей, слов и знания, порывы всего богатства душевного, у другого — труд методический и хладнокровный, тот самый вожделенный ум, который надо напитать, наладить, заставить приносить пользу русскому народу.

Одна влюбленность у обоих, одинаковая, хотя и по разному, и оттого они соратники — соперники, родоначальники великих помыслов лучших поколений русской интеллигенции, и оттого и интеллигенция вслед за ними тоже — о двух ипостасях.

Чернышевский оставил по себе евангельское *трехкнижие*, заключающее основной катехизис передовых русских воззрений: «Эстетические отношения искусства к действительности», «Примечания к политической экономии Милля» и роман «Что делать?». Герцен мерещится русскому интеллигенту каждый раз как будет захватывать волна революционная и сопряженная с нею эмиграция. Его: «*vivos voco*»* слышится долго, десятилетия продолжает звучать во всех попытках основания русских свободных станков и во времена «Впереди» П. Л. Лаврова и дальше в «Освобождении», даже в «Красном знамени». Словца и остроты Герцена, эти определения событий и личностей, меткие и яркие не забудутся, и вспомнить их, применить, привести несколько строк из «Колокола» будет влечь, хотеться, даст каждый раз какую-то оживляющую радость среди самой мрачной страды в борьбе с коснотью русской политической и прочей обыденщины.

Никто никогда не только не превзойдет Герцена в публицистике, но и близко не подойдет к нему и никто никогда не создаст такого стройного интеллигентского миропонимания, как Чернышевский.

* Призываю живых (лат.).

* * *

Vivos voco!

Кто же эти живые, которых звал за собою «Колокол» Герцена?

Он звал за собой ради русского народа, накануне его освобождения; для народа, но не сам народ. Народ еще не считался среди живых. И мечтать об чем-либо подобном нечего было и думать. На пятом году своего колокольного звона вырвалось это восклицание: «...О если бы слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской!»*. Герцен был таким же «отрещенным от народа», каким представлял он себе авторов «Молодой России»**. А народ, конечно,— только крестьянство; не о третьем же сословии речь: аршинники, откупщики, данники-друзья взяточников, и рука руку моет.

Только — общество. Иначе и точнее нельзя ответить на вопрос о «живых», к которым рвалаась пламенная речь Герцена.

Общество, т. е. образованное меньшинство и прежде всего эти «самые независимые люди в Европе», как назвал Герцен в «Письмах к Линтону» русское служилое дворянство***. Значит, не только помещиков из более образованных и захваченных волной либеральных воззрений, но еще и тех из них, а то и из разночинцев, которые, находясь на государственной службе, были призваны в той или иной степени осуществлять задуманные реформы. Не чужих каких-то, занятых иными делами, призывал Герцен на путь реформ и преобразований, а уже так или иначе приобщенных и введенных силой вещей в это русло. Оттого приходилось поддерживать их, ратовать за предоставление им большей свободы действия, за назначения на высшие должности, в сущности, из-за них распинаться, за их карьеру. И тогда: прочь «табель о рангах», об уничтожении которой хлопочет особенно усердно славянофил в сцене «Русские в Париже»****. «Берите людей новых», — требует «Колокол».

Отсюда необходимость тратить писательскую энергию на бичевание всего остального косного, приверженного

* Колокол. 1861. № 105.

** Там же. 1862. № 139.

*** Женевское издание. Т. V. С. 289.

**** Колокол. 1858. № 11.

старине, держащегося за «крещеную собственность» и дворянские привилегии, этого тупого помещичьего люда, зядлых крепостников, а с ними подъячих и всяких великих и малых сановников «с Владимирами и римской цифрой на груди». Этот, казалось бы, безнадежный труд был неизбежен. Нельзя было иначе. Заклеймить, заставить презирать, возбудить негодование, пристыдить их,—ставил себе задачей «Колокол», но отсюда многие осложнения и опасности, и справа, и слева, и от самого правительства, потому что эти люди входили в него, и гораздо хуже слева и из центра, потому что умеренные стали обижаться, считая нападки незаслуженными, а радикальные видели в этом отсталость и косность проповеди в пустую.

Положение Герцена осложнялось еще тем, что среди живых ведь был сам Александр II.

Его программа как раз совпадала с программой «Колокола», заявленной в его первом номере и много раз повторенной. Разве только переставить приходится пункты:

Освобождение крестьян — от помещиков.

Освобождение податного сословия — от побоев.

Освобождение слова — от цензуры.

Нет почти ни одного номера «Колокола», чтобы в нем не упоминалось об Александре II. Сначала: «Государь хочет перемен, хочет улучшений, пусть же он вместо бесполезного отпора, прислушается к голосу мыслящих людей России, людей прогресса и науки, людей практических и живших с народом»*. Потом через полтора года в первом февральском листе: «Видно, нашему Колоколу не суждено еще издавать полные радостные звуки<...> А как искренно, как горячо хотелось нам, чтобы было иначе, с каким сердечным упнованием смотрим мы на усилия Александра II вырвать у упорно-своекорыстного дворянства — веревку, на которой оно держит крестьян в кабале». И в следующем же втором февральском номере того же 1858 г. знаменитое: «*Ты победил, Галилеянин*»**, над которым пролито столько хороших

* 1857. № 2.

** № 9.

и вовсе не рабьих слез. Еще через год, однако, «Александр II не оправдал надежд», «его мчат дворцовые кучера»* и даже больше: «мы каемся перед Россией в нашей ошибке. Это тоже Николаевское время, но разваренное с патокой»**. Значит, казалось бы, временное увлечение; надо признать,— правы, как выразился Герцен, «артисты-революционеры», которые не признают мирного пути развития, т. е. «ряда уступок общественному мнению со стороны правительства»***. Вовсе нет. Еще через год: «...я знаю, что с религией демократии несовместно говорить что-нибудь о венценосцах, кроме зла; признаюсь вам, что мне религия демократии не по сердцу...»**** и вот хотя в 1860 году сказано, что «Александр II, какFaуст, вызвал духа не по силам и испугался»*****, после появления Манифеста 19 февраля 1861 года опять, как три года тому назад, Герцен заявляет, что имя Александра II, «теперь уже стоит выше всех его предшественников» и он назвал царя *Освободителем*⁶.

Герцен кокетничает с государем, ищет независимых выражений в своих обращениях к нему, порицает и хвалит; он ему предлагает дать место в «Колоколе» его речи к московскому дворянству, которая не была напечатана, как бы беря этим государя под свое покровительство; он дает советы государыне о воспитании наследника⁷*, в длинной статье «Appel a la pudeur» высмеивает верноподданнический слог придворных сообщений⁸.

Читали ли Герцена в Зимнем Дворце?

Читала вся образованная Россия. Никогда после не повторится чисто литературный успех органа заграничной русской печати, подобный успеху «Колокола». Читали «Колокол» ради Герцена и Герцена ради «Колокола». Нанизывались разноцветным бисером статья за статьей. Герцен

* № 18.

** № 53.

*** № 2.

**** № 32.

***** № 60.

⁶* 1861. № 95.

⁷* № 27.

⁸* № 30 и 31.

ликовал, скорбел и смеялся. Изливалась его богатая душа. Красовались и слог, и знания, и остроумие, и резкости, и задушевность чувств. Неугомонно искрилась жизнь вокруг «Колокола». Россия отзывалась множеством писем, жалоб, разоблачений*. Письмо к Герцену Чичерина вызвало целую полемику**. С ним спорили, и он отвечал. Особое издание «Голоса из России» возникло, чтобы можно было печатать все, что мчалось из России в Лондон***. Шумиха. Цель гласности, которую поставил себе задачей Герцен, была достигнута.

Но всякий успех гласности всегда бывает попутно успехом скандала; таков был отчасти и успех «Колокола». Герцен зло бичевал и выставлял на позор, высмеивал Паниных, Клейнмихелей, Закревских, Броков, Ростовцевых, всех сановников, унаследованных Александром II от «Незабвенного». Он преследовал Николаевщину, и она отвечала интригами там, где это было возможно. «Колокол» запретили в Германии и Риме****. Но все росли осведомленность «Колокола» и симпатии к нему на родине, потому что публика рукоплескала еще и скандалу.

Жизнь русская металась, бурлила. Обновлялась, моло-деля жизнь. Почин возникал за почином. Промышленность и железные дороги, проекты, собрания, публичные лекции, возбуждения вопросов права и экономики, и комиссии, комиссии... «Колокол» деятельно, почти властно принимал участие во всем этом, не отставал, а, напротив, подталкивал, шевелил, торопил сумятицу всколыхнувшейся от спячки русской жизни. Ломилось, разваливалось, трещало здание старого уклада, а новое росло, протягивало руки на Запад, в Лондон, ища покровительства и слов одобрения на листах «Колокола». Чернышевский записал в «Прологе»: «В те времена петербургские реформаторы добивались, чтобы в Лондоне были милостивы к ним»*****. Как же было тог-

* Ответы Герцена № 4 («нашим анонимным корреспондентам»), 7 (в Смеси), 27, 29, 36, 48 и др.

** Напечатано в № 30 «Колокола», а полемика в № 32 и 33.

*** Вып. 1 вышел 2-м изд. в 1858 г.

**** № 16 и 17.

***** «Пролог» в «Полн. собр. соч.». СПб., 1906. Т. X. С. 138.

да не говорить «в наше время, когда» Герцен был слишком изощренный писатель, его вкус был слишком отчеканен порядочностью мысли и слога, чтобы он мог допустить подобное выражение. Он говорил то же самое, но меткими словцами и примерами, анекдотами или изливая свое богатое сердце лиризмом. Но досуг ли было разобраться, что важно и что нет, что очередная мелочь жизни, очередная жестокость отживавших старых форм, и что мишурные блески новомодной риторики?

Случилось не только похвалить новоявленного афериста Кокорева*, которому позднее пришлось задать вопрос, не эксплуатирует ли он рабочих при помощи исправника**, но даже сорвалось: «для нас история о том, как Панин, министр юстиции, хотел отжилить чужой дом, важнее теории о «непосредственном правительстве», занимавшей лет пять тому назад западных публицистов»***. А между тем он сам понял, что мелочных разоблачений накапляется слишком много и выделил их в особую рубрику: «Под суд»****.

* * *

Вот среди этой-то сумятицы скрещивающихся нападков и успеха, среди неугомонной шумихи, важной и не столь важной, пытливый взор Герцена встретился со смотревшим на него через очки холодным и насмешливым взглядом Добролюбова. «Змея, да еще «очковая»», — сказал себе Герцен.

Кто такое Добролюбов? Прошло не больше двух лет, как он стал присяжным литературным критиком «Современника», а журнал этот издавался Некрасовым и Панаевым, людьми, с которыми Герцен и Огарев были в ссоре по чисто личным и, строго говоря, исключительно денежным счетам*****. Добролюбов был в числе сотрудников также

* № 10.

** № 97.

*** № 32.

**** С № 49.

***** Этой запутанной истории, причиной которой было управление г-жей Панаевой именем Огарева, я касаться не буду.

и «Колокола»*, но знал ли об этом и запомнил ли его имя Герцен? Весьма легко предположить, что ему и в голову не приходило узнать в подписи Д-бова юношу, приславшего год тому назад заметку о студенческих волнениях в Петербурге. Во всяком случае только полным незнанием Добролюбова можно объяснить оскорбительные для него последние строки Герцена в «Very dangerous»**: «По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Грече, но (чего Боже сохрани) и до Станислава на шею! Может они об этом и не думали,— пусть подумают теперь!»

Герцен любил отмежевываться от каких-то «доктринеров на французский лад и гелертеров на немецкий», он считал себя «брошенным в борьбу»*** и поэтому заявлял, что «стремится и хочет действовать в наше время, в современной России», и он вовсе не хочет «втеснять вопросов, но стараться овладеть теми, которые уже возникли»****. А тут вдруг при журнале Некрасова и Панаева начинает выходить юмористический «Свисток», высмеивающий вообще все это пресловутое «наше время, когда...». «Свисток» бичует как раз либералов, от него достается даже той самой святой «гласности», на которую возлагали столько надежд. Мало того, критик «Современника» уже не в «Свистке», а в самом журнале иронизирует над обличительной литературой вообще. Что критик Д-бов или -бов главный сотрудник «Свистка», это Герцен очевидно уже знал. Как же тогда? Как понять направление этого журнала?! Он несомненно «опасен» для гласности и вообще для всего передового движения. Того и гляди на радость крепостникам и сановникам достанется от этой «свистопляски» и «Колоколу».

Герцен даже позабыл, что в одном из своих ответов на сыпавшиеся на него нападки, сам же он брал под свое покровительство смех, как оружие борьбы. Не дальше, как в следующем же после статьи «Very dangerous» номере он

* В Полн. собр. соч. Добролюбова под моей редакцией включена эта статья.

** Колокол. 1859. № 45.

*** № 28 (статья: «Нас упрекают»), ср. № 29 («Обвинительный акт»).

**** № 32, 33.

отстаивает права своего неистощимого остроумия*. Но негодование Добролюбов возбудил в Герцене не только «Свистком». Это предлог, подробность. О смехе сказано «по поводу». Разногласие было вдобавок еще чисто литературное.

К нему Герцен возвращается вновь через год в статье «Лишние люди и желчевики», снабдив ее эпиграфом из «Very dangerous»**. Теперь он очевидно лучше знает, кто такое Добролюбов.

Статья «Very dangerous» написана в пылу негодования за успех знаменитейшего очерка Добролюбова «Что такое обломовщина?», ставшего с тех пор классическим в истории русской литературы.

Прочитав этот очерк, Герцен впервые почувствовал себя «отцом», от которого отшатнулись дети. Да, этот молодой критик задел за живое. Проснулись горькие и сладостные воспоминания юности, святая скорбь этих «лишних людей» сороковых годов, Гамлетов и Рудиных, наследников Онегина и Печорина, которых такой яркой нитью перевязал и сплел Добролюбов. Разве они не были близкими Белинскому и Грановскому, самому Герцену? С основным положением историко-литературного построения Добролюбова Герцен собственно согласен: «Нельзя не разделять здоровый, реалистический взгляд, который в последнее время, в одном из лучших русских обозрений стал выбивать тощую, моральную точку зрения на французский манер, ищущую легкой ответственности в общих явлениях. Исторические слои, так же худо, как геологические, обсуживаются уголовной палатой. И люди, говорящие, что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду, делающую взятки зоологическим признаком целого племени, например *безбородых русских* — совершенно правы. Но эти строки только кажутся примиряющими возникший спор. Герцен с одной стороны тем же приемом определения основных черт поколения, каким пользуется Добролюбов, самого его и все его поколение старается охарактеризовать для противопоставления «лишним людям» 40-ых годов и этим берет

* № 48 («Разговор по службе»).

** 1860. № 82.

под защиту этих последних, а с другой стороны в форме воображаемого диалога изображает основное различие всего своего миросозерцания со взглядами поколения, которого Добролюбов для него блестящий представитель.

«Лишних людей» сменили «желчевики»; их создало николаевское воспитание; они озлоблены, как Добролюбов, потому что школа сделала их желчными, узкими, «с рубцами на душе», не зная «ни свободного размаха, ни вольно сказанного слова». Значит: врачу — исцелился сам. Часто это бывает с уже начинающими стареть литераторами, что увида, как занимаются новые течения мысли, новые веяния, им становится не по себе. Ведь в самом деле, годы шли, и свои, дорогие им теории и принципы с таким трудом проводились в сознание, распространялись и проникали, наконец, в умы и сердца; неужели же теперь, когда как будто улеглась борьба и блещет светлая радость победы, не настало успокоение? Каждому стареющему литератору хочется верить, что раз наступило, наконец, его признание, и нет больше споров,— победа эта уже раз навсегда, потому что она — не что иное, как торжество правды над заблуждением или прямо ложью. А тут вдруг!.. Что такое? Откуда? И хочется верить, что это лишь болезнь, временное увлечение, пройдет, избудется... Таким болезненным и переходным явлением представились Герцену эти желчевики с Добролюбовым во главе: «Лишние люди сошли со сцены, за ними сойдут и желчевики, наилуче сердившиеся на лишних людей».

Но в том-то и дело, что они не только сердятся на лишних людей, но, сопоставляя их с Обломовым, делают то, что в наше время называется *вскрыванием классовой принадлежности*. Для Герцена «лишние люди» потому ничего не делали, а только скорбели и красовались друг перед другом своей благородной скорбью, что имели несчастье жить в Николаевскую эпоху. Однако позволительно ли забывать, что из них выходили Белинские и Грановские? Для Добролюбова их роднит с Обломовым то, что у них был Захар и еще «триста Захаров». Они были потомственные и столбовые белоручки, и самая лишность их — классовой признак. На это Герцен нашелся возразить только одно: «находясь

тогда в неопытном положении церкариев, они по малолетству за свои поступки отвечать не могут. А уж раз сделав эту ошибку в выборе родителей, они должны были подвергнуться и тогдашнему воспитанию». Но не впадает ли Герцен, говоря это, сам в осужденную им «тощую моральную точку зрения на французский манер, ищущую личной ответственности в общих явлениях»? Конечно, он не мог этого не чувствовать.

Мы так привыкли к этому гениальному тургеневскому выражению: отцы и дети, что трудно его преодолеть, оно приковало к себе мысль. Но разве на минуту забыв его, не подыщется другого определения для сущности этого разногласия. Да, оно уже давно и найдено. Еще тогда же. Не спорит ли Герцен с «разночинцем»?

Таково было первое столкновение Герцена с Чернышевским. Ведь Добролюбов и Чернышевский — одно.

В своих показаниях по обвинению в намерении эмигрировать для издания вместе с Герценом журнала за границей, Чернышевский прежде всего сослался на статью «Very dangerous», как на «дурной отзыв» Герцена о Добролюбове. Он говорил, что с этого времени испытывает к нему «неприязнь», еще усилившуюся после того, как он «потерял» Добролюбова. В этих показаниях находится и ключ к его статье — некрологу о Добролюбове. Вот зачем так настаивает в ней Чернышевский на сердечности и нежности чувств своего друга. Он прежде всего стремился доказать воочию, что выражение «желчевик» — просто неправда. Напротив, в юности в характере Добролюбова столько же, если еще не больше романтизма и отзывчивости, чем в людях 40-х годов. И статья кончается таким резким вызовом:

«Теперь, милостивые государи, называющие нашего друга человеком без души и сердца, — теперь честь имею обратиться к вам, и от имени моего, от имени каждого прочитавшего эти страницы, в том числе и от вашего собственного имени, — да, и вы сами повторяете себе то, что я говорю вам, — теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами. Вызываю вас, дрянные пошляки, — поддерживайте же ваше прежнее мнение, вызываю вас...

Вы смущены? Вижу, вижу, как вы пятитесь.

«Помните же, милые мои, что напечатать имена ваши в моей воле и что с трудом удерживаю я себя от этого»*.

К чести Чернышевского сказать, он сам в своих показаниях на суде назвал этот свой выпад против Герцена «дурным». Слова его чересчур уж грубы, и главное, как сознается Чернышевский, «неприязнь» к Герцену «увлекла его до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если б захотел»**.

Резкая политическая заметка Чернышевского против Герцена появилась в первой книжке «Современника» за 1862 год, а через четыре месяца журнал был приостановлен, и тогда-то при обстоятельствах, которые навсегда останутся неизвестными, Герцену пришла странная мысль вызвать из России Чернышевского для совместной работы. Он пишет об этом Серно-Соловьевичу, и отсюда арест Чернышевского — удар, от которого он уже не оправится. А пять лет перед этим в 1857 году начинает выходить «Колокол», как раз одновременно со вступлением в редакцию «Современника» Добролюбова. Для Чернышевского это была дата знаменательная; он сам это признал, начав именно с лета 1857 года свой автобиографический роман «Пролог», где так и изображено: выведенный в нем Добролюбов кончает Педагогический институт, и ему предложено сотрудничество в журнале, с чем связана новая эра в писательской деятельности самого Чернышевского. Что-то значительное должно произойти, и вот начинается.

Ровно пять лет развивались параллельно деятельность Герцена в Лондоне и Чернышевского в Петербурге, чтобы привести к трагическому столкновению и к развязке в 1862 году.

Что в романе «Пролог» Волгин — Чернышевский, а Левицкий — Добролюбов, бросается в глаза. Незачем и приводить письма Чернышевского Пыпину при присылке романа, где автор сам называет его автобиографическим. Не трудно отождествить и других действующих лиц. Но надо ли видеть

* Полн. собр. соч. Т. X. С. 10.

** Былое. № 4. С. 154.

в Рязанцеве — Кавелина, в графе Чаплине — графа Блудова, в драгунском офицере Соколовском, пострадавшего за прокламацию к солдатам во время крестьянских волнений в Бездне Казанского уезда, подполковника А. Красовского, в Невельзине — сосланного за «Великоросса» Владимира Обручева, кто такие: Илатонцев и Савелов — все это не так существенно. Более, чем автобиографическое значение романа выступает воочию, при освещении его дневником Добролюбова*. Тут уже не автобиографический замысел, а прямо документальность. В дневнике Левицкого мы имеем дело с совершенно дополненным историко-литературным документом, дополняющим и объясняющим собою несомненный документ: напечатанные М. К. Лемке показания Чернышевского на суде, к которым наконец удалось получить доступ в архиве Сената**.

Дело вот в чем.

Добролюбов вел дневник с самых юных лет и, по-видимому, до конца дней. Говорю лишь: по-видимому, до конца своих дней, потому что дошедший до нас его дневник, однако, не идет дальше лета 1857. О продолжении известно уже косвенно из переписки и одного отрывка. Рукопись дневника Добролюбова представляет собою простые, довольно толстые, школьные тетрадки в обыкновенной синей мягкой обложке. И вот на том самом месте, где прерывается дневник, тетрадка вовсе не кончена, и нет также дальше и белых неисписанных листов. *Продолжение вырвано*. Чья рука это сделала? Зачем?

Ответ на эти вопросы дает нам роман «Пролог». Последние записи Добролюбова относятся к моменту окончания им Педагогического института. В центре рассказа стоят два обстоятельства. Автор статьи в «Современнике», направленной против директора Института Давыдова (Степка

* Подлинные дневники, заметки и письма, находившиеся в архиве Литературного фонда, долго были в моих руках, пока я готовил их к печати для моего издания Полного собрания сочинений Добролюбова. Проредактированные В. Княжнином, они должны были составить последний том этого издания (Деятель). Война помешала последнему тому выйти в свет, хотя оставалось его только отпечатать.

** Былое. 1903. № 3, 4 и 5 («Дело Н. Г. Чернышевского (по неизданным источникам)»).

и в подлинном дневнике и по роману), Добролюбов, занимавший среди товарищей особое положение, как наиболее развитой и передовой среди них, почему-то страдает душою. Это первое. Второе ничего общего с этим не имеет. Добролюбову понравилась вольная девица, Машенька; он некоторое время потерял ее из вида, а недавно, найдя ее в одном из домов терпимости, сразу без колебаний решил спасти ее и поселить вместе с собою на даче. Из писем мы знаем, что то и другое оставило большой след в душе Добролюбова. При разставании с Институтом Добролюбов был у директора Давыдова, и товарищи приняли это как неблаговидный шаг к примирению. Долго после, как видно по письмам, из гордости не захотевший сделать ни малейшего усилия для разъяснения своего поступка, будет мучиться Добролюбов тем превратным мнением, какое он дал повод составить о себе товарищам. Благородное намерение относительно Машеньки тоже стало причиной терзаний, потому что Машенька очень быстро бросила его ради более выгодного содергателя и так больно оскорбила этим молодое и неопытное сердце юноши. «Дневник Левицкого» рассказывает именно вот эти два обстоятельства. Машенька только названа Аньютой. Ее знакомство с Левицким изображено романтически, но все, что потом случится, включая сюда и биографию Аньюты, гораздо более подходит к доподлинной Машеньке, чем к ее изображению в романе, когда там уже сам автор рассказывает о знакомстве ее с Левицким-Добролюбовым. Отношения же Левицкого к товарищам, сохранение дружбы только с одним из них (Бурдюковым), также точь-в-точь тоже в «Дневнике Левицкого»; это явствует из подлинной переписки Добролюбова.

Мы не знаем, что сделал Чернышевский с вырванными из дневника Добролюбова страницами, но они настолько использованы в «Дневнике Левицкого»*, что слог Добролюбо-

* Я должен, однако, оговориться, что все события во время пребывания у Илатонцева в деревне домашним учителем мне отождествить не удалось. Во вторую половину лета 1857 г., т. е. после разрыва с Машенькой, Д[обролюбов] в был в Нижнем у родных. Однако похожие на влюбленность чувства Д[обролюбов] действительно испытал к сестре своего ученика в одном доме еще в Петербурге, где давал урок. Хозяин дома схож с Илатонцевым. Это — Галахов.

ва узнаешь; и значит все, что там сказано об отношениях Волгина и Левицкого — правда, настоящая и доподлинная. И не только о Добролюбове, но и о самом Чернышевском.

Прежде всего, сам Волгин. Мы имеем возможность проверить, насколько метко сумел изобразить себя Чернышевский в Волгине. Стоит сопоставить фигуру Волгина с изображением доподлинного Чернышевского, сделанным таким художником, как В. Г. Короленко. В его «Воспоминаниях о Чернышевском»*. Этот последний говорит как есть манерой Волгина. Поражает. Да, отлично схватил Чернышевский в Волгине свою неуклюжую расшаркивающуюся любезность, свои остроты, склад своей речи, то крикливой, то мистифицирующей и в то же время полной искренности и непосредственности доброго и глубоко честного чудака. А еще в своем раннем взятом на обыске дневнике, где записи относятся ко времени до женитьбы Чернышевского**, он записал: «Меня каждый день могут взять. Какая будет тут роль. У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что могу я другое делать? Сначала я буду молчать и молчать, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться»***. Опять доподлинность. Так изумительно схожа со словами Волгина жене эта запись из дневника.

Все эти соображения о доподлинности автобиографического романа Чернышевского помогают еще разобраться и в вопросе об участии его в составлении пресловутой, никогда даже и не набиравшейся прокламации «к барским крестьянам».

В сношениях с Герценом Чернышевский, как известно, был оправдан, но дальше дело приняло совершенно другой оборот. Костомаров, один из мелких сотрудников «Современника», арестованный раньше вместе с Михайловым, оговорил Чернышевского в письме, написанном неизвестно кому

* Лондон, 1894.

** Былое. 1906. № 3. С. 104–105.

*** Там же. 1906. № 5. С. 105 и 119–120.

и едва ли не в угоду III-му отделению, а после у него же найдены записка и письмо уже якобы самого Чернышевского, доказывающие, что он автор прокламации. Еще в те времена говорилось в близких кругах, что то и другое: и записка и письмо — подложны. Это без обиняков пишет Герцен в «Колоколе»*. Того же мнения и давший facsimile этих документов историк процесса Чернышевского М. К. Лемке**.

Однако, руководясь принятым в литературно-общественных кругах мнением, Лемке допускает авторство прокламаций Чернышевского.

Интерес этого вопроса, конечно, не в юридической стороне дела. Слишком давно это было. Важно, участвовал ли Чернышевский в составлении прокламаций того времени, только для выяснения его миросозерцания. В частности, для нас: в каком идейном взаимодействии находился он с Герценом.

Герцен напечатал тогда же увезенную в Россию Михайловым прокламацию «К молодежи»***, и отозвался сам призывом: «Заводите типографии!»****. И это в полном соответствии с его нападками на «доктринеров на французский лад и гелертеров на немецкий» в противоположность себе, целиком «бросившемуся в борьбу». Что думал по этому поводу Чернышевский? Во время своего процесса он категорически отрицал какое-либо отношение к делу тайных типографий***** и остался верен этому показанию до конца дней. Таково свидетельство В. Г. Короленка⁶*. То же самое утверждал и самый близкий после смерти Добролюбова Чернышевскому человек, его двоюродный брат А. Н. Пыпин. В своих показаниях во время процесса Чернышевский еще рассказал о бурных нападках на него со стороны Михайлова во время одного обеда у Некрасова за то, что он, Чернышевский, «апатичный человек» и поэтому «охлаждает молодых

* Колокол. 1865. № 2 3.

** Былое. 1906. № 3. С. 99–100; № 4. С. 178.

*** Там же. № 1. С. 161.

**** Колокол. 1861. № 105.

***** Былое. № 5. С. 112–115.

6* Воспоминания о Ч[ернышев]ском.

людей»*. Под молодыми людьми подразумевается и Костомаров. Неужели придумал это Чернышевский? Михайлов уже был осужден во время процесса Чернышевского, но все равно, можно ли предположить, что Чернышевский возвел бы на Михайлова напраслину, с единственной целью привести еще один аргумент в свое оправдание? Не мог ли он думать, что его показание может быть, или, вернее, должно было быть проверено свидетельскими опросами других приглашенных на этот обед у Некрасова, так же как и самого хозяина дома?

А помимо этого у нас есть, хотя и не прямое, а косвенное, но весьма веское доказательство того, что этот рассказ в показаниях на суде Чернышевского соответствует истине. Оно было и в руках судей Чернышевского. Я разумею письмо Огарева с припиской Герцена, найденное при обыске у Чернышевского, где и обращение и все прочие фамилии были соскоблены. Мы еще вернемся к нему по другому поводу. Покамест мне важны эти слова Огарева против Чернышевского: «Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа, продажа правды и доблести из за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма»**. Это уже не разговор и не показание на суде, а написано черным по белому Огаревым, от которого Михайлов только что привез пук прокламаций для распространения их в Петербурге.

А если так, то сейчас же вспоминаются слова, приписанные самому Чернышевскому в романе «Пролог».

В разговоре Волгиних с дочерью Илатонцева о сенсимионистах сороковых годов Волгин, действительно, проявляет вот такой скептицизм, в каком его упрекает Огарев. «Видишь — говорит жене Волгин — в первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний; неудачно; — рассудили: «Подождем, пока будет сила», ну и держались несколько лет смирно; и набирали силы; но опять не достало рассудка и терпения; подняли восстание; — ну

* Былое. № 4. С. 162.

** Былое. 1906. № 3. С. 306.

и поплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? — если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего <...> преспокойно получили бы уступки одну за другую, — дошли бы и до власти, с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на бой, — смирятся самым любезным манером. Ох, нетерпение! — Ох, — иллюзии: — Ох, экзальтация!»*.

Более чем вероятно, что на революционные затеи 61-го и 62-го годов, сводившиеся к разбрасыванию прокламаций, Чернышевский говорил и смелому замученному Михайлову, и молодому честолюбцу Костомарову, который оказался потом вдобавок еще предателем, вот этими самыми словами: «Ох, нетерпение! — Ох, иллюзии! — Ох экзальтация!» Не скептицизм, а другое: то, что особенно ценил Чернышевский в Добролюбове: «холодность взгляда», несмотря на «сильные страсти и жажду жизни и деятельности»**.

Роман «Пролог» — только отрывок и обнимает события не дальше 1857 года. Однако сразу же Чернышевский дает читателю понять, что его герой, т. е. он сам, постарается держаться подальше от «агитаторов» и вовсе не считает себя «брошенным в борьбу». Он сторонится даже Соколовского-Красовского, хотя готов признать «в нем инстинкт политического деятеля — качество, которого не найдете вы ни в одном из наших либералов»***. Он говорит о себе (в разговоре Волгина с Соколовским): «У меня характер мнительный, заставляющий меня всегда желать отсрочек, ненавидеть риск». «Вы, — говорит Волгин Соколовскому, — будете ввязываться во все, — и не с такою глупостью и трусостью, как наши либералы. Поэтому считаю для себя вредным видеться с вами»****. Почему? Потому что все кажущееся общественно-политическое оживление, о котором так много говорили либералы и на которое так пламенно надеялись более левые, — все это Волгину-Чернышевскому представлялось «бурей в болоте»*****.

* Там же. С. 45.

** Там же. С. 37 и 166.

*** Там же. С. 109.

**** Там же. С. 121.

***** Там же. С. 131.

Разногласия между Герценом и Чернышевским, которых первый, по-видимому, вовсе не понял, объясняются без того, чтобы принималась в соображение вражда Герцена к Некрасову на чисто личной, денежной почве, хотя и в статьях, и в письмах оба, и Герцен и Огарев, делают на это злые и довольно прозрачные намеки. С другой стороны,— и это всего важнее — не надо придавать значения слишком укрепившимся простым схемам борьбы «отцов и детей» или вторжения в русскую передовую литературу т[ак] наз[ываемых] «разночинцев». Два мировоззрения, хотя они нисходили, в сущности, из одного источника, настолько разошлись и обособились, что столкновение оказалось неизбежным. Между тем, трагическая судьба Чернышевского, цензурный гнет, а отсюда и запутанность, недоговоренность, невысказанность заставили и дальше переплетаться между собою эти мировоззрения совершенно иначе, чем это казалось*.

Разобраться в этой историко-литературной прежде всего, а далее и в общественной проблеме, т. е. пересмотреть генеалогию русской общественной мысли и составить задачу следующего очерка.

II

Герцен и Чернышевский до и после 1862 года

Герцен и Чернышевский были оба левыми гегельянцами. Дороже всего им те течения тогдашней европейской передовой мысли, которые объединяются названием «Молодая Германия».

Гегельянство Герцена восходит еще к кружку Станкевича, а идейная связь Чернышевского с «Молодой Германией» выразилось ярко в его «Эстетических отношениях искусства к действительности». Понимание художественного

* Читатель, вероятно, заметил, что я вовсе не пользуюсь ни воспоминаниями о той эпохе, ни сочинениями, авторы которых опираются именно на них, как например, недавняя книга о Чернышевском Чешихина. Тут обыкновенно повторяется уставившееся традиционное мнение, между тем, первое требование, какое историк литературы обязан себе предъявить, это проверка традиционных взглядов, как бы легенды об авторе, по его собственным произведениям. Этого принципа я и старался строго придерживаться.

творчества в этой книге нельзя определить иначе, как эстетика Фейербаха*. И Чернышевский остался гегельянцем до конца жизни**. Поэтому Чернышевский и Герцен должны были и друг другу, и в глазах окружающих представляться полными единомышленниками. Молодежь, к которой принадлежали сверстники Добролюбова, воспитываются тоже на основах того же самого миросозерцания. Открыто о Фейербахе и упомянуть нельзя было. Даже о Бруно Бауэре. Но, как видно из дневника и писем Добролюбова, книги Фейербаха и Бруно Бауэра усердно читаются напр[имер,] более развитыми студентами, и на них воспитывается миросозерцание, к ним относятся с большим интересом, чем к французским сен-симонистам; а Огюста Канта, Милля и прочих представителей положительной философии еще мало знают.

И еще больше всего сближает Герцена и Чернышевского их отношение к русскому общинному землевладению. Тут вначале, т. е. в середине 50-х годов, одни и те же чаяния и надежды. Русская община содержит в себе зародыш коммунизма, и ради этого непременно надо, чтобы крестьянство не только было освобождено с землей, но чтобы после освобождения общинное землевладение могло сохраниться. При этом такое значение общинного землевладения, хотя оно само по себе имеет мало отношения к левому гегельянству, вводится в систему, облеченнное в проистекающие из нее основные историко-культурно-схематические очертания.

Вопрос об общинном землевладении коренной и центральный. Все образованное общество волнуется и спорит из-за него и о нем. Что такая община, откуда она? Во вред или на пользу эти хозяйства? А всего важнее ее смысл социологический.

Между Герценом и самим Чернышевским и возникнет спор не о ней самой, а именно о том, как ввести наше общинное начало, т. е. это особое, свойственное России социологическое данное, в общую систему лево-гегельянского

* См. мои «Очерки развития эстетических учений» (в Лезинских сборниках. Т. VI. Харьков, 1915), главу «Русская эстетика». Я сослался там и на Владимира Соловьева (С. 198).

** Короленко В. Г. Воспоминания. С. 22.

понимания исторических судеб Европы. Тут сходство и тут же сейчас и различие.

Левое гегельянство разочаровалось в высоких культурных приобретениях германизма. [18]48-й год не забыт. Он лег тяжелым бременем на романтически настроенные сердца и умы. Вторая империя во Франции, а в Германии — реакция. Где просвет? Откуда придет новое и светлое? Немецкие, французские и итальянские эмигранты рассеяны по всему свету. Они юятся в бедных квартирах Лондона, бродят где-то по Америке. Запад кажется уже изжившим себя. На западе и кругом — беспросветно. И вот среди левых гегельянцев возникает какое-то довольно беспорядочное искашение страны-спасительницы, которая доставила бы желанный *синтез*, завершение, знаменующее собою, согласно диалектическому методу, выход из противоречия тезы и антитезы предшествующей эпохи. В одном из первых номеров «Колокола» Герцен знакомит своих читателей с этими политическими пророчествами: одни видят страну-спасительницу в Англии, другие в Америке...*.

Еще в 1848 году, на Пражском съезде, Бакунин пытался провозгласить славянство вожделенным народом-спасителем. Свет с востока. Бруно Бауэр и Герцен облекли эту мысль в целую историю**. Для Герцена она стала лозунгом, главным и основным его положением как политического деятеля, символом его веры. Ради нее или, напротив, как за ее доказательство и ухватился он за русское общинное землевладение — ячейку коммунизма.

«Западный мозг так, как он выработался своей историей, своей односторонней цивилизацией, своей школьной наукой, не в состоянии уловить *новые явления жизни ни у себя, ни в чужих*». «Старая цивилизация истощила свои средства, она становится все больше и больше книжной». «Не далее! — сказал западный ум,— и остановился, так как некогда он уже останавливался по приказу Лютера и Кальвина».

* Колокол. № 7.

** Взаимные отношения Бруно Бауэра и Герцена я постарался установить в очерке миросозерцания Добролюбова; см.: Полн. собр. соч. Добролюбова под моей редакцией.

Вот что писал Герцен, самый западный из всех русских, вот что вынес он из близости с самыми передовыми кругами Франции, Италии и Англии. 1848 год для него — катастрофа; оборвалось, застыло, и ничего, кроме безнадежности. Что принесла миру революция 48 года? «Победа над социализмом была сделана, об нем перестали говорить»*. И теперь, особенно после Наполеоновского переворота, Европа представляется ему застывшей «на грудах трупов, по колено в крови, перед страшным, неразрешимым сфинксом — поземельной собственности и пролетариата, капитала и работника. Ни французский дележ земли на атомы, ни паразитная жизнь английского фермерства ничего не устраниют, ничего не предупреждают. Земли становится меньше и меньше, владелец губит пахаря, капитал работника, и хор пролетариев из мастерских, из фабрик, с полей сильнее и сильнее поет лионский припев: «свинец или хлеб! смерть или работу»**.

Зато что же происходит теперь в России, в этой стране, где в курных избах притаился крепостной народ, «этот дикий, этот пьяный, в бараньем тулупе, в лаптях, ограбленный, безграмотный, этот парий, которого лучшие из нас хотели из милосердия оболванить, а худшие продавали на своз и покупали по счету голов, этот немой, который сто лет не вымолвил ни слова», — русский мужик?! В России, на востоке Европы, близок к разрешению вопрос *об освобождении крестьян с землею и об общем землевладении*.

Россия опередит Запад. За нею слово, потому что Россия страна непочатая. Во втором номере своего «Колокола», в статье «Революция и Россия» уже начинает Герцен свою проповедь этого чудесного откровения, которое должно исходить из освобождения крестьян с землею при сохранении общинного землевладения. Непочатость, свежесть нового начала в том, что в России весь государственный и частный уклад, насложившийся над устоями народного быта — все наносное: «У нас есть императорская диктатура и сельский быт, а между ними всякого рода учреждения, попытки, начинания, да мысль больше и больше оживающая,

* Все выдержки из № 53, 54, 56–59 «Колокола».

** Там же. № 32.

не привязанная ни к какой касте, ни к какому из существующих порядков». Из всего этого вытекало, что социализм, раздавленный на западе, вновь возродится, придя с востока, из России.

Эти взгляды Герцена были давно знакомы русской читающей публике. Герцен говорил не новое, а свое самое заветное, уже много лет сложившееся убеждение. В самом первом же номере «Голосов из России» и помещено письмо, спрашивавшее Герцена: «Зачем выставляете вы нас перед Европой как будущих преобразователей европейского мира, как будущих водворителей теории социализма»*. Герцен ответил на подобные упреки в статье о книге Милля «О свободе», которая, по его мнению, показывает косность и неподвижность Запада**. Там уже нечего ждать, не на что надеяться. Это он отвечал либералам, потому что приведенный только что упрек исходил, конечно, не от социалистов, а от либеральных западников, которых одновременно смущали и социализм Герцена, и опасное, по их мнению, сбивающееся на славянофильство, унижение западной цивилизации.

В лице Чернышевского Герцен нашел противника-сопатника, тоже, как и он, социалиста, писателя, настолько казавшегося сначала единомышленником, что даже после всего, что произошло, Герцен счел возможным их сотрудничество в том же органе. Оттого-то так остро и больно уколола Герцена неожиданно начавшаяся против него полемика в «Современнике». Это видно из того письма Огарева с припиской к нему Герцена, которым я уже воспользовался. Целая буря в сердцах их обоих, как только они узнали из «СПб. ведомостей» о том, что в одной статье Чернышевского в «Современнике» содержится скрытый выпад против вот этих, только что изложенных взглядов на назначение России. Это разногласие посерьезнее, чем спор о лишних людях и желчевиках. «Зачем это битье по своим», — спрашивает Огарев. «Черныш[евский] a la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником», — прибавляет

* Изд. 2-е. Лондон, 1858. С. 24.

** Колокол. № 40 и 41.

Герцен*. Статья Чернышевского, о которой речь,— «О причинах падения Рима» (подражание Монтескье) по поводу русского перевода «Истории цивилизации во Франции» Гизо**. Она напечатана в одной из весенних книжек «Современника» за 1861 год, т. е. значительно позже статей Герцена против Добролюбова.

В гегельянстве уже несколько лет как произошел раскол. Из недр «Молодой Германии» выходит экономизм нового направления, руководимый Карлом Марксом. Вопрос переставлен: последний завершающий синтез эволюции европейских народов определяется совершенно иначе. В основе ее положены «потребности производства» и теория трудовой ценности, что совершенно ничего общего уже не имеет ни с банкротством запада, ни с исканием выхода извне, потому что на световой круг сознания должны выйти какие-нибудь новые, не участвовавшие до сих пор в судьбах мира народы, и особенно славянство; это последнее кажется диким К. Марксу и отсюда то, что писал он о деятельности Бакунина в Австрии в [18]48-м году. У Маркса нет никаких других чувств к славянам, кроме презрения.

Новая теория гегельянства — *интернациональна*. Ведь Карл Маркс — основатель Интернационала с его Эрфуртской Программой, из-за чего и произошло когда-то расхождение между Герценом и Бакунином с одной стороны и Карлом Марксом — с другой. Чернышевский пошел по тому же пути чистой экономики, что и Карл Маркс, но по условиям тогдашней русской цензуры не мог хотя бы сколько-нибудь ясно высказаться. Приходилось лишь обиняками проводить свои идеи. Он называл складывавшийся и еще юный в те годы *марксизм* либо «последующим развитием науки»***, в незнании которого он обвиняет Прудона, либо, как в показаниях во время своего процесса, объясняя свое разногласие с Герценом «более поздней философской школой», чем Герцен****.

* Былое. 1906. № 31. С. 106.

** Собр. соч. Т. VIII. С. 156 и сл.

*** Полн. собр. соч. Т. VI. С. 192.

**** Былое. 1906. № 5. С. 112.

* * *

Читатель «Современника», однако, постепенно и осторожно все таки вводился в круг миросозерцания, которое считал своим призванием распространить в России Чернышевский. А привычка к подцензурной литературе развила в подписчиках «Современника» изумительную догадливость относительно всего того, от чего их старалась так усердно оберечь цензура. В центре стоит перевод с примечаниями и далее изложение «Политической экономии» Милля. Тут проводился трудовой принцип ценности: капитал есть не что иное, как накопление труда; откуда читатель должен был уже сам прийти к выводу, что все по праву принадлежит только трудящемуся народу. Это первое и самое главное. Перевод и переложение Милля дается читателям «Современника» параллельно со статьями по крестьянскому вопросу, а то и другое взаимно дополняет друг друга*. Рядом с этим идет и общее философское обоснование. Чернышевский воспользовался книгой П. Лаврова, чтобы, как всегда, борясь с цензурой запутывающими длиннотами и недоговоренностью, все-таки обосновать свое порвавшее с идеализмом миропонимание, т. е., то, что впоследствии будет называться *материалистическим монизмом*; по подцензурной терминологии Чернышевского надо было привести читателя к тому, «что на человека надобно смотреть, как на одно существо, имеющее только одну натуру»**. Это и есть основа «антропологического принципа в философии». Так названа статья; ее главная цель, однако, еще другая, вытекающая из первой: установить «антропологический принцип в нравственных науках», как выражается Чернышевский — читай: *экономический материализм*. «Если читатель,— пишет Чернышевский в одной из своих политических статей,— не принадлежит к счастливцам, у которых денег “куры не клюют”, к счастливцам, которые могут постоянно носиться душою в возвышенных сферах чисто идеальных созерцаний о прекрасном всякого рода, от трюфелей до составления собственных картинных галерей, будучи избавлены хорошим

* См. Полн. собр. соч., куда вошли статьи за 1858—1861 годы. Т. IV—VII.

** Собр. соч. Т. VI. С. 237.

наследством от презренной мысли о прокормлении семейства,— то читатель знает по опыту, что презренные материальные расчеты о куске хлеба, о тяжести налогов и тому подобных пошлостях сильно примешиваются к самым возвышенным чувствам...»*.

От материализма вообще к экономическому материализму, а отсюда к тому, что будет впоследствии носить название теории классовой борьбы, и ляжет в самую основу всей философии истории.

Прежде всего, классовое самосознание трудящихся масс. «Нет никаких сомнений,— писал Чернышевский,— что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям»**. Когда их усвоит себе рабочий класс — или, скажем, вместе с Чернышевским, «простолюдин», потому что Чернышевский не видел противоречия между рабочим классом и крестьянством, т. е. собственником земли, на которой оно работает, и отсюда его привязанность к сельской общине, когда случится, что люди труда «ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям», они увидят, насколько сознательно путем законодательства проводятся в жизнь мероприятия, диаметрально противоречащие их самым насущным нуждам. Они поймут, что «бюрократия служит только одним источником подобных феноменов. Есть мнение, будто бюрократия враждебна аристократии; оно может быть и основательно по какой-нибудь идеальной теории того или иного принципа; но в действительности оба они уживаются вместе превосходно, по правилу: рука руку моет»***.

* * *

Эти основные положения миросозерцания Чернышевского, которые я здесь, разумеется, могу только напомнить в самых общих чертах, получили дальнейшее развитие в современном марксизме. И если бы можно было сказать

* Там же. Т. V. С. 361.

** Там же. Т. VI. С. 205—206.

*** Собр. соч. Т. V. С. 312.

с полной определенностью: Чернышевский был провозвестником марксизма, его полемика с Герценом могла бы быть охарактеризована, как первое проявление будущих споров марксистов с народниками. Это было бы, однако, не верно. Марксисты имеют основание не возводить себя к Чернышевскому. И не только из-за разногласия по вопросу об общинном землевладении. Отбросив идеалистическую философию, Чернышевский оставался *рационалистом*. Двигателем для него все-таки будет распространение научных принципов. Он никогда не говорил ни прямо, ни косвенно, что потребности, а не идеи делают историю. Отнюдь нет: «Какова мысль, такова и воля»*, — учил Чернышевский. Оттого и под старость, в письме к Вернадскому, Чернышевский все еще определяет задачу общественного деятеля чисто теоретически: «Главный материал, над которым оперирует разум, творящий социальные формы,— эгоистические и прежде всего материальные интересы. Сделать подсчет этих интересов, поставить наибольшее благо наибольшего числа людей в качестве цели, показать эту таблицу с ее противоположными итогами, громадным массам, которые теперь, по неумению рассчитать, допускают существование неестественной социальной арифметики — остальное можно легко предсказать и предвидеть»**.

На этом рационализме Чернышевского справедливо опирается в своей книге о Чернышевском Плеханов. Тут совершенно правильно видел он основание для себя как марксиста отмежеваться от Чернышевского. Да, разумеется, этого положения марксистов: не идеи, а потребности делают историю, у Чернышевского нет. Однако, не будет ли более правильным смотреть на рационализм Чернышевского как на придачу, на некую заранее сделанную поправку в будущем марксизме? А ведь у самих марксистов и в том числе, и у Плеханова, очень часто натыкаешься на рассуждения, в которых, не замечая этого, они тоже впадают в совершенно такой же, немного упростительский и на современный взгляд наивный рационализм.

* Там же. Т. VI. С. 211.

** У В. Г. Короленко в «Воспоминаниях». С. 22.

Именно как рационалист Чернышевский не мог не быть гораздо более «доктринером на французский лад или гелертером на немецкий», чем общественным деятелем, «бросившимся в борьбу». Отсюда два непременных следствия: во-первых, ему одинаково была дорога вся целиком его система, все целостное миросозерцание, которое он проводил с таким трудом. И, значит, не к чему было делать исключение в своей полемике в пользу Герцена. Во-вторых, будучи последовательным, никакого призыва, никакого «*Vivos voco!*» он вовсе не мог иметь в виду.

В частности, по отношению к презиранию всей западной цивилизации, блестяще со свойственным ему талантом проводимому Герценом, оно было уже никак, отнюдь не приемлемо. Ведь оно противоречило всей системе. Экономический материализм не мог допустить ничего подобного. И вот, в той самой статье, которая так возмутила Огарева и Герцена, по-видимому, еще не заметивших, насколько чужды их взгляды Чернышевскому, он пишет: «Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быту ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежею помощью <...>». «Нечего нам и хлопотать об этом: *никаких оживителей не нужно ей*. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно делать»*.

Второе следствие из научного рационализма Чернышевского вернет нас к той части его процесса, которая и погубила его, т. е. к обвинению в составлении прокламаций.

* * *

Не апатия и не скептицизм должны были останавливать Чернышевского от того, чтобы «броситься в борьбу», а пла-менная вера в живительную силу тех решающих и непоколебимых знаний и теорий, которые он называл наукой. Вспомним еще раз слова Волгина о французских сен-симонистах.

* Собр. соч. Т. VIII. С. 173.

Восстания не удаются. Они чаще всего бывают преждевременными. Надо распространять истинное понимание происходящих событий. Надо все усилия положить на самообразование и самосознание народных масс. А это — работа долгая, упорная, неблагодарная и сама по себе достаточно опасная, как и показала судьба Чернышевского, которую, как мы знаем, он предвидел давно, еще смолоду. Медленно сверху, от образованных классов проникает в народ самосознание, т. е. ясное понимание своих интересов. «Новое и в идеях, как в жизни,— пишет Чернышевский,— распространяется довольно медленно; но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется, постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения, начиная, конечно, с более развитых»*. Не «живых», захваченных волной реформ, в это пресловутое «наше время, когда...» призывал Чернышевский. Нет, он просто обращался к читателям «Современника».

Отсюда же эти мечты об энциклопедизме, о разных словарях и справочниках, о целой библиотеке самообразования, которую он рассчитывал одолеть сам, единолично, без всякой посторонней помощи, о чем он пишет и жене из тюрьмы и после близким из Сибири. За это его обвиняли в самомнении, чуть ли не в том, что он лишился рассудка. И до сих пор это повторяют умы, привыкшие думать с чужих слов, т. е. судящие о писателях по воспоминаниям о них и беглым отзывам.

А «Великорусс»?

Параллельно с прокламацией «К молодому поколению» в Петербурге вышло три номера подпольной газеты «Великорусс»**. К последнему номеру был приложен проект адреса государю, испрашивающего дарование конституции. За издание и распространение «Великорусса» пострадал только один человек: Владимир Обручев, потом прощенный и доживший до самого недавнего времени, но унесший в могилу тайну того, кто разумеется под именем членов

* Собр. соч. Т. VI. С. 205.

** Перепечатаны у Газилевского в дополнительном томе к «Государственным Преступлениям».

комитета упомянутого при розыске об авторах адреса*. Литературно-общественная традиция приписывает составление адреса Чернышевскому. На это намекает приложенное к его делу анонимное письмо, представляющее собою доклад III Отдел[ению] о вредном влиянии Чернышевского**. Наконец, в «дни свободы», в 1905 году Стажевич заявил, что из разговоров с Чернышевским он вынес впечатление об авторстве или соавторстве Чернышевского в «Великоруссе»***. Если правы эти свидетельства, очевидно, нельзя считать Чернышевского совершенно чуждым прокламационному движению начала 60-х годов.

Но нам опять-таки важна не полицейски-юридическая сторона дела, а только идеяная. И вот тогда, вчитываясь в «Великорусса» и сравнивая его с прокламацией «К молодому поколению», нельзя не увидеть, насколько далеко стоял Чернышевский от вдохновляемых из Лондона революционеров своего времени, даже если «Великорусс» не был его личным органом.

Прежде всего, мы находим в «Великоруссе» наставление тем, кто примкнет к движению, действовать весьма конспиративно, через частные кружки знакомых, по провинциальным клубам, т. е. предлагается та самая осторожность, за которую стоит Волгин в «Прологе», во избежание «преждевременных демонстраций». «Великорусс» стремится только сорганизовать мнения; в виде «решительного» действия он предлагает лишь одно: сбириание подписей под адресом. Это вполне подходит к печатно выраженной Чернышевским уверенности, что, когда широко сорганизовано и твердо усвоено какое-нибудь мнение, оно претворится в жизнь и без революции. Значит, по существу, если Чернышевский и участвовал в издании «Великорусса», дело вовсе не меняется.

При этом особенно важно обратить внимание на то, что прокламация «К молодому поколению» содержит в себе нападки на Чернышевского, вполне подходящие как к тому,

* Былое. 1906. № 7. С. 81 и сл.

** Былое. 1906. № 3. С. 97.

*** Закаспийское обозрение. 1905. № 143.

в чем укорял его Михайлов на том знаменательном обеде у Некрасова, так и к нападкам на него Герцена.

«В последнее время, — говорит прокламация, — расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что они приучают нас только считать гроши, что они разъединяют нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями». И сейчас же переход к вопросу о взаимных отношениях западной цивилизации и России. «Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком —

Нет, нет наш путь иной,
И крест не нам нести ...
Пусть несет его Европа»*.

И в подпольной тогдашней прессе таким образом сказывается та же борьба, тот же самый спор между двумя соратниками-противниками.

* * *

Одна из менее удачных сцен в романе «Пролог» — обед, который дает Илатонцев съехавшемуся в Петербурге дворянству. Предполагалось, что, когда подадут шампанское, Рязанцев — Кавелин произнесет речь о предстоящем освобождении крестьян с землею, более или менее в духе «Колокола», а ему возразит Волгин — Чернышевский. Программа Волгина должна была оказаться гораздо радикальнее. Чернышевский — Волгин согласно с теорией трудовой ценности считал ведь справедливым освобождение крестьян со всей землей и вовсе без выкупа. Услышав это, дворянство, конечно, бросится от Волгина — Чернышевского под защиту более умеренных воззрений Рязанцева — Кавелина. Случилось, однако, совершенно другое. Неожиданно на обеде оказался приглашенным Савелов, чиновник, даже происхождением не связанный с поместным сословием, один

* Привожу по сборнику «За сто лет». С. 28—29.

из главных деятелей реформы. Он попросил слова, и вышло так, что ни дворянству, ни ученому профессору Рязанцеву нечего было сказать, а только подчиниться, принять к сведению, высказать полную готовность согласоваться с мудрыми предначертаниями правительства. Волгину не пришлось и открыть рта, о чём он вовсе и не сожалел, чувствуя себя совершенно посторонним в этой чуждой ему среде*.

На самом-то деле ведь все и произошло *mutatis mutandis*, как раз так, как изобразил Чернышевский на этом воображаемом обеде.

Реформа была проведена бюрократически, причем либеральное дворянство лишь получило некоторое нравственное удовлетворение своим участием в губернских комитетах, поставив кадры мировых посредников и мировых судей, а позднее своим влиянием в земствах. Дворяне же крепостники притихли, наступившись и затаив злобу, но не против правительства, а против освобожденного народа. Кое-где, как в Казанском уезде, крестьяне заволновались, но были успокоены силой оружия, а потом при помощи отрезных земель оказались вновь, только в ином виде под властью своих прежних бар. Герцен, между тем, в последний раз и в самых сильных выражениях приветствовал Александра II. Тогда-то он назвал его *Освободителем***. Он говорит, что только события в Польше помешали ему поднять стакан за государя***. И после этого Герцен уже совсем больше не касается крестьянского вопроса. Почему? Разногласия Герцена с проводившим реформу правительством были незначительны. Прежде всего, Герцен ведь сам полагал, что только вот так, т. е. бюрократически, и может быть осуществлено освобождение крестьян с землею****. «Колокол» стоял даже за назначенных правительством председателей комитетов*****. Что же касается надела, то, по мнению

* С. 168 и сл.

** Колокол. № 95.

*** Там же. № 96.

**** Там же. № 27 и многие другие.

***** Там же. № 8.

Огарева, крестьяне считали своею лишь часть земли*. Значит, об их праве на всю землю не могло быть и речи, совершенно так же, как о передаче земли без выкупа.

Правда, проведение реформ все-таки не могло удовлетворить Герцена. «Все реформы, начиная с крестьянской, были не только неполны, но преднамеренно искажены», — скажет Герцен в 1867 году**. Однако Герцен переносит свою проповедь в иные области мыслей и интересов, и прежде всего — польский вопрос. Его статьи — поэмы, все такие же жгучие, вновь начинают принимать международный характер. Мало того, все чаще и чаще его взор обращается назад, он сбивается на прежнее, даже на «Былое и думы». И тогда новые встают перед ним противники: с одной стороны — Катков, а тут и Иван Аксаков тоже требует, чтобы он покаялся за свою польскую политику***, а с другой стороны, Герцен расходится еще и с «Молодой Россией»****. В том самом номере, где Герцен шлет свое проклятие правительству за осуждение Чернышевского, он вновь в раздумье о семи прошедших годах и спрашивает: «продолжать или приостановиться и переждать пароксизм безумной реакции»*****. Ответ будет: *продолжать*, но еще всего три года и по случаю десятилетия «Колокола» — конец. Дальше уже опять по-французски...^{6*}

Между тем, «Что делать?» написано Чернышевским в тюрьме, и оказалось возможным выпустить роман в свет, но потом... тоже конец.

Началась новая эпоха русской общественности. Подгнили и попадали старые в трехцветную полоску николаевские верстовые столбы. Теперь писаревщина, «Молодая Россия», «нечаевщина», позднее процесс 193-х и возникновение «Народной Воли». Тогда становятся главные книги Чернышевского евангельским *трехкнигием* русских передовых кругов. Долго, до самого того времени, когда в 80-х годах

* Там же. С. № 4.

** Колокол. № 234.

*** Первая статья еще в № 94 «Колокола» за 1861.

**** Колокол. 1862. № 139.

***** Там же. 1867. № 244.

^{6*} С 1 января 1868 г.

«Современник» будет изъят из общественных библиотек, книги и статьи Чернышевского прослужат основным источником общественного самосознания, между тем как о Герцене знают мало. Неполное заграничное издание его сочинений до самой Мировой войны не было распродано; можно было купить не особенно дорого и полный экземпляр «Колокола». Оттого кажется, что Чернышевский пережил своего соратника-противника, и отсюда привычка укладывать их взаимные отношения в упрощенную схему сменяющихся поколений. Но это только кажется. Такое непонимание плод недоразумения. На самом деле все главные лозунги русского революционного движения до самой «Народной Воли» провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена «нечаевщины» станет его друг, Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходят и «Земля и Воля»* и «Хождение в народ»**. Даже странно, Герцена — писателя волею Божией, писателя, который войдет в число русских классиков, читают мало, хотя знает об изумительном блеске его дарования каждый образованный человек, а в то же время Герцен, «бросившийся в борьбу», лишь по виду позабыт, хоть и считается он пережившим самого себя; провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мятутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения. Чернышевского же сухого и скучного, читают и только читают.

И еще одно. С этим вот революционным наследием Герцена, «брошенного в борьбу», тесно связаны и «Земля и Воля» и «Хождение в народ», но само по себе это наследие еще гораздо важнее и того и другого.

Старая русская цензура до самого конца столетия гораздо ревнивее и внимательнее относилась к вопросам политики, чем к социальным задачам современности. То, что было всего ближе к власти, то, что она всего старательнее оберегала — это принцип единовластия. Самодержавие не только должно было оставаться незыблемым как основная и самая

* Статья «Порядок торжествует» в «Колоколе» № 230 (1866).

** Колокол. № 110 в статье «Исполин просыпается».

существенная черта народности, но даже как особый прида-
точный догмат православия. В 80-е годы эта николаевская
формула будет вновь провозглашена и объявлена обще-обя-
зательной. В 1858 году впервые был однако разрешен жур-
налам отдел политики, хотя, разумеется, только иностран-
ной, и вот этим самым раскрывалась возможность говорить
о парламентаризме. Когда Волгин-Чернышевский с таким
волнением ждет возвращения в Петербург Левицкого-Добро-
любова*, он говорит жене, что ему станет легче работать, по-
тому что явится помощь; но это только ей в утешение, на са-
мом деле надо было ринуться в новую работу, создать целых
два новых отдела: политический и экономический. При этом
всего более ухищренности в умении провести статьи сквозь
теснины цензуры требовала именно политика.

1930



* Пролог. С. 97 и сл.